

Лекция 12. Начала истории понятия *homo oeconomicus* (II)

4 апреля 1979 г. Начала истории понятия *homo oeconomicus* (II). — Возвращение к проблеме ограничения суверенной власти экономической деятельностью. — Появление нового поля, соответствующего либеральному искусству управлять: гражданское общество. — *Homo oeconomicus* и гражданское общество: неотделимые друг от друга элементы либеральной правительственной технологии. — Анализ понятия «гражданское общество»: эволюция от Локка до Фергюсона. «Опыт истории гражданского общества» Фергюсона (1787). Четыре основные характеристики гражданского общества по Фергюсону: (1) оно есть историко-природная константа: (2) оно служит опорой спонтанному объединению индивидов. Парадокс экономической связи: (3) она служит постоянной матрицей политической власти: (4) она составляет двигатель истории. — Появление новой системы политической мысли. — Теоретические следствия: (а) вопрос об отношениях между

государством и обществом. Немецкая, английская и французская проблематики: (b) регулирование осуществления власти: мудрость государя в рациональных расчетах управляемых. — Общее заключение

В прошлый раз я слегка коснулся темы homo oeconomicus, пронизывающей всю экономическую мысль, а главным образом — либеральную мысль примерно с середины XVIII в. Я пытался показать вам, как homo oeconomicus стал чем-то вроде незаменимого атома и неустранимого интереса. Я пытался показать вам, что этот атом интереса не был ни совпадающим, ни идентичным, ни сводимым к тому, что в юридической мысли составляет сущность субъекта права; что homo oeconomicus и субъект права, таким образом, не совпадают и что, наконец, homo oeconomicus не интегрируется в ансамбль, частью которого он является согласно той же диалектике, по которой субъект права также является частью ансамбля, то есть субъект права интегрируется в ансамбль всех прочих субъектов права в силу диалектики отказа от своих прав или передачи своих прав кому-либо другому, тогда как homo oeconomicus интегрируется в экономический ансамбль, частью которого он является, не посредством передачи, изъятия, диалектики отказа, но посредством диалектики спонтанного умножения.

Это отличие, эта неустранимость homo oeconomicus по сравнению с субъектом права влечет за собой (и это я тоже пытался показать вам в прошлый раз) важное изменение, касающееся проблемы суверена и суверенного осуществления власти. Действительно, позиция суверена по отношению к homo oeconomicus оказывается иной, нежели по отношению к субъекту права. Субъект права, по крайней мере в некоторых концепциях или исследованиях, выступает как то, что ограничивает осуществление суверенной власти. Тогда как homo oeconomicus не удовлетворяется тем, что ограничивает власть суверена. В определенном смысле он ниспровергает его. Во имя чего он его ниспровергает? Во имя права, на которое суверен не должен посягать? Нет, вовсе не так. Он ниспровергает его, поскольку выявляет у суверена сущностную, фундаментальную и основополагающую неспособность господствовать над всеобщностью экономической сферы. Сталкиваясь с экономической сферой в ее целостности, суверен не может не быть слеп. Ансамбль экономических процессов не может не ускользнуть от взгляда, который желает быть взглядом центральным, тотализирующим и всеохватывающим. В классической концепции суверена, которую мы находим в Средние века и еще в XVII в., выше суверена стояло нечто непроницаемое — намерения Бога. Каким бы абсолютным ни был суверен, маркируемый как представитель Бога на земле, было еще нечто, что от него ускользало, — замыслы Провидения, и от этой судьбы ему было не уйти. Теперь ниже суверена есть нечто, что от него ускользает в меньшей степени, и это уже не замыслы Провидения или законы Бога, это лабиринты и изгибы экономического поля. И потому, как мне кажется, появление понятия homo oeconomicus представляет собой своего рода политический вызов традиционной концепции суверена, концепции юридической, абсолютистской или какой-то иной.

В этом отношении, как мне представляется (я говорю очень абстрактно, очень схематично), возможны два решения. Действительно можно сказать: если homo oeconomicus, если экономическая практика, если совокупность процессов производства и обмена ускользают от суверена, тогда мы должны, так сказать, географически ограничить суверенитет суверена и зафиксировать осуществление его власти чем-то вроде фронта: суверен может касаться всего, кроме рынка. Если угодно, рынок как порто-франко, вольное пространство, свободное пространство в общем пространстве суверенитета. Это первая возможность. Вторая возможность — это то, что предлагают и отстаивают физиократы. Она заключается в том, чтобы сказать: суверен действительно должен считаться с рынком, но считаться с рынком — не значит, что на всем пространстве суверенитета будет существовать, так сказать, участок, которого он не сможет касаться, в который он не сможет проникнуть. Скорее, это значит, что в отношении рынка суверен должен осуществлять совсем иную власть, нежели власть политическая, которую он осуществлял до настоящего времени. По отношению к рынку и экономическому процессу он должен быть не только тем, кто в силу некоего права обладает абсолютной властью принимать решения. По отношению к рынку он должен стать тем же, кем является геометр по отношению к геометрическим реалиям, то есть он должен с ним считаться: он должен считаться с очевидностью, которая ставит его одновременно в положение пассивности по отношению к внутренней необходимости экономического процесса и в то же время надзора, так сказать, контроля, или, скорее, тотального и постоянного констатирования этого процесса. Иначе говоря, в перспективе физиократов государь должен в отношении экономического процесса перейти к политической активности или, если хотите, к теоретической пассивности. Для политической области, являющейся частью сферы его суверенитета, он должен стать кем-то вроде геометра. Первое решение заключается в том, чтобы ограничивать деятельность правителя всем тем, что не является рынком, чтобы поддерживать саму форму правительственных интересов, форму государственных интересов, производя простое изъятие рыночного объекта, рыночной или экономической области. Второе решение, решение физиократов, состоит в том, чтобы поддерживать всю сферу деятельности правительства, изменив, однако, в самой основе природу правительственной деятельности, поскольку, изменяя коэффициент, изменяют индекс, и правительственная деятельность оказывается теоретической пассивностью, а кроме того, она оказывается очевидностью.

В действительности и то, и другое решение могло быть лишь своего рода теоретической и программной виртуальностью, не получившей дальнейшего развития в истории. Исходя из проблемы homo oeconomicus, из специфичности homo oeconomicus и его несводимости к сфере права началась [реорганизация][121], переустройство правительственных интересов. Точнее говоря, проблема, поставленная симультанным и коррелятивным появлением проблематики рынка, ценового механизма, homo oeconomicus, заключается в следующем: искусство управлять должно осуществляться в пространстве суверенитета (об этом говорит само государственное право), однако беда, злосчастье или проблема состоит в том, что пространство суверенитета оказывается обитаемым, населенным экономическими субъектами. Итак, экономические субъекты, если понимать вещи буквально и если уяснить несводимость экономического субъекта к субъекту права, требуют или невмешательства суверена, или вписывания рациональности суверена, его искусства управлять, в научную и спекулятивную рациональность. Как сделать так, чтобы суверен не отказывался ни от одной из областей своей деятельности, или чтобы суверен не превращался в геометра экономии —

как тут быть? Юридическая теория неспособна принять в расчет эту проблему и решить вопрос: как управлять в пространстве суверенитета, населенном экономическими субъектами, поскольку юридическая теория — теория субъекта права, теория естественных прав, теория прав, уступаемых по договору, теория делегирований — не сочетается и не может сочетаться (как я пытался показать вам в прошлый раз) с механической идеей, с самим обозначением и характеристикой homo oeconomicus. Следовательно, ни сам по себе рынок с присущей ему механикой, ни научная Таблица Кенэ, ни юридическое понятие договора не могут определить, очертить, в чем и как населяющие поле суверенитета люди экономические станут управляемыми[122]. Правимость (gouvernabilité), или руководимое (gouvernementabilité) — прошу прощения за эти варваризмы — тех индивидов, которые в качестве субъектов права населяют пространство суверенитета, но которые в этом пространстве являются в то же самое время людьми экономическими, их руководимость может обеспечиваться, и обеспечиваться эффективно, только появлением нового объекта, новой области, нового поля, которое есть, так сказать, коррелят искусства управлять и которое складывается в этот момент в зависимости от самой проблемы: субъект права — экономический субъект. Нужен новый план референции, и этот новый план референции, очевидно, не будет ни совокупностью субъектов права, ни рядом торговцев или экономических субъектов, или экономических деятелей. Эти индивиды, которые неизменно оказываются субъектами права, которые являются, к тому же, экономическими деятелями, но которые не могут быть «руководимы»[123] тем или иным рангом, управляются лишь в той мере, в какой можно определить новый ансамбль, охватывающий их одновременно в качестве субъектов права и в качестве экономических деятелей, но показывающий не просто связь или сочетание этих элементов, но целую серию других элементов, по отношению к которым субъект права или экономический субъект составляют частные аспекты, интегрируемые в той мере, в какой сами они являются частью сложного ансамбля. Этот новый ансамбль, как мне кажется, и есть то, что характеризует либеральное искусство управлять.

Скажем еще вот что: чтобы управление могло сохранить свой всеобщий характер на всем пространстве суверенитета, чтобы ему не пришлось подчиняться научным и экономическим соображениям, в силу которых правитель должен был бы стать или геометром экономии, или служителем экономической науки, чтобы не нужно было разделять искусство управлять на две ветви — искусство управлять экономически и искусство управлять юридически — короче, чтобы сохранить одновременно единство искусства управлять и его распространенность на всю сферу суверенитета, чтобы искусство управлять сохранило свою специфичность и свою автономию по отношению к экономической науке, чтобы отвечать этим трем задачам, нужно придать искусству управлять референцию, область референции, новое поле референции, новую реальность, в которой осуществляется искусство управлять, и это новое поле референции, как мне представляется, есть гражданское общество.

Что такое гражданское общество? Мне кажется, что понятие гражданского общества, анализ гражданского общества, всех объектов или элементов, представляемых в рамках этого понятия, все это вместе взятое составляет попытку ответить на вопрос, который я только что упомянул: как управлять согласно правовым нормам пространством суверенитета, которое имеет несчастье или преимущество, как угодно, быть населенным экономическими субъектами? Как найти основание, рациональный принцип, чтобы

значительно ограничить то право, то господство экономической науки, ту правительственную практику, которая должна заботиться об экономической и юридической разнородности? Таким образом, гражданское общество — это не философская идея. Гражданское общество — это, как мне кажется, концепт правительственной технологии или, скорее, коррелят технологии управления, мера рациональности которой должна юридически индексироваться экономией, понимаемой как процесс производства и обмена. Юридическая экономия управления, основанного на экономической экономии: вот проблема гражданского общества, и мне кажется, что гражданское общество, то, что очень скоро стали называть обществом, то, что в конце XVIII в. называли нацией, в общем, все это делает возможной правительственную практику, искусство управлять и рефлексию об этом искусстве управлять, одним словом, правительственную технологию, самоограничение, не нарушающее ни законов экономики, ни правовых принципов, не нарушающее также ни требований правительственной всеобщности, ни потребности в вездесущности правительства. Вездесущее правительство, от которого ничто не ускользает, правительство, подчиняющееся правовым нормам, и правительство, которое, тем не менее, считается со специфичностью экономии, именно такое правительство будет руководить гражданским обществом, нацией, обществом социальным.

Таким образом, homo oeconomicus и гражданское общество — это два не[раздели]мых[124] элемента. Homo oeconomicus — это, если угодно, абстрактная, идеальная и чисто экономическая сущность, которая населяет плотную, наполненную и сложную реальность гражданского общества. Гражданское общество — это конкретная общность, внутри которой, чтобы суметь надлежащим образом ими управлять, нужно разместить эти идеальные сущности, представляющие собой людей экономических. Так что homo oeconomicus и гражданское общество являются частью одного и того же ансамбля, ансамбля технологии либерального руководства.

Вы знаете, сколь часто ссылаются на гражданское общество, и не только в последние годы. Начиная с XIX в. гражданское общество в философском дискурсе, а также в дискурсе политическом отсылает к реальности, которая навязывается, насаждается, воздвигается, вызывает возмущение и ускользает от правительства, от государства, от государственного аппарата или от институции. Мне кажется, нужно быть очень осторожным, подступаясь к той реальности, которую представляет собой гражданское общество. Это не историко-природная данность, которая служила бы, так сказать, цоколем, а также принципом оппозиции государству или политическим институциям. Гражданское общество — это не первичная и непосредственная реальность. Гражданское общество — это часть современной правительственной технологии. Когда мы говорим, что [оно] является частью, это не означает, что оно есть чистый и простой продукт или что у него нет реальности. С гражданским обществом все обстоит так же, как с безумием и сексуальностью. Это то, что я назвал бы реальностью взаимодействия, то есть то, что присутствует в игре и в отношениях власти и непрестанно от них ускользает, это то, что рождается, так сказать, в контакте управляющих и управляемых, те транзакционные и транзиторные фигуры, которые не существуют постоянно, но которые тем не менее реальны и которые в одном случае можно назвать гражданским обществом, в другом — безумием, и т. п. Таким образом, гражданское общество — это элемент транзакционной реальности в истории правительственных технологий, представляющейся мне коррелятом той самой формы правительственной

технологии, которая называется либерализмом, то есть технологии правления, имеющей целью свое собственное самоограничение в той мере, в какой она связана со специфичностью экономических процессов.

Теперь два слова о гражданском обществе и о том, что его характеризует. Я хотел бы попытаться показать вам, по крайней мере общо, в принципе, поскольку наш курс подходит к концу, как понятие гражданского общества может разрешить проблемы, которые я только что попытался обозначить. Итак, первая досадно банальная ремарка сводится к тому, что понятие гражданского общества совершенно изменилось на протяжении XVIII в. Практически до начала второй половины XVIII в. термин «гражданское общество» устойчиво означал нечто совершенно отличное от того, что он будет означать впоследствии. Например, у Локка гражданское общество — это общество, характеризующееся юридическо-политической структурой. Это общество, это совокупность индивидов, связанных между собой юридической и политической связью. В этом значении понятие гражданского общества совершенно неотлично от понятия политического общества. Глава 7 «Второго трактата о правлении» Локка называется «О политическом или гражданском обществе».1 Таким образом, гражданское общество — это всегда общество, характеризующееся существованием юридической и политической связи. Начиная со второй половины XVIII в., и уже в ту эпоху задаются вопросами о политической экономии и о руководстве экономическими процессами и субъектами, которые или совершенно, или по крайней мере значительно изменяют понятие гражданского общества и переименовывают его от начала до конца.

В действительности, конечно, на протяжении всей второй половины XVIII в. понятие гражданского общества предстает под разными углами и в разных вариациях. Чтобы упростить свою задачу, я хочу обратиться к тексту, который является текстом фундаментальным, к квазистатутному тексту в том, что касается характеристики гражданского общества. Это знаменитый текст Фергюсона, переведенный на французский язык в 1783 г. под названием «Опыт истории гражданского общества»,2 текст близкий, очень близкий Адаму Смиту и «Опыту о богатстве народов», причем слово «народ» (nation) у Адама Смита имеет почти тот же смысл, что и «гражданское общество» у Фергюсона.3 Перед нами политический коррелят, в конце концов коррелят термина «гражданское общество», того, что Адам Смит изучал в чисто экономических терминах. Гражданское общество Фергюсона — это конкретный элемент, конкретная общность, внутри которой функционируют экономические люди, коих пытался изучать Адам Смит. Я хотел бы отметить три или четыре существенные черты этого гражданского общества у Фергюсона: во-первых, гражданское общество как историко-природная константа; во-вторых, гражданское общество как принцип спонтанного объединения; в-третьих, гражданское общество как постоянная матрица политической власти; в-четвертых, гражданское общество как движущий элемент истории.

Во-первых, гражданское общество как историко-природная константа. Действительно, по Фергюсону, гражданское общество — это данность, за которой ничего не нужно искать. До гражданского общества ничего не существует, а если что-то и существует, говорит Фергюсон, так то, что для нас совершенно недоступно, настолько задвинуто в глубь веков, настолько далеко от того, что делает человека человеком, что невозможно знать то, что его

породило, что могло иметь место до возникновения гражданского общества. Иначе говоря, бесполезно задавать вопрос о не-обществе. Это не-общество характеризовалось в терминах одиночества, изоляции, как если бы могли быть люди, рассеянные в природе и не имеющие какого бы то ни было союза, какого бы то ни было средства общаться, это общество характеризовалось, как у Гоббса, непрерывной войной или войной всех против всех; как бы там ни было — одиночество или война всех против всех — все это отодвигается в некую мифическую глубину, которая никоим образом не служит исследованию явлений, имеющих отношение к нам. Человеческая история всегда существовала «для групп», говорит Фергюсон на 9-й странице первого тома своей «Истории гражданского общества».4 На странице 20 он говорит: «общество столь же древне, как индивид», — и столь же напрасно было бы воображать людей, которые не разговаривают между собой, как воображать людей, у которых не было бы ног или рук.5 Язык, коммуникация, а следовательно некоторые постоянные отношения между людьми совершенно типичны для индивида и для общества, поскольку индивид и общество не могут существовать друг без друга. Короче, мы никогда не достигнем такого момента, или во всяком случае бесполезно пытаться вообразить момент перехода от природы к истории, от не-общества к обществу. Природа человеческой природы состоит в том, чтобы быть исторической, поскольку природа человеческой природы состоит в том, чтобы быть общественной. Нет такой человеческой природы, которая существовала бы отдельно от общества. Фергюсон указывает на разновидность мифа, методологическую утопию, всплывшую в XVIII в.: давайте возьмем, говорит он, детей, которым позволили бы воспитываться вне всякой формы общества. Предположим, что этих детей поместили в пустыню, предоставив их в столь юном возрасте самим себе, позволив им развиваться в совершенном одиночестве, без наставлений и без руководства, так вот, если бы мы вернулись пять, десять, пятнадцать лет спустя, при условии, конечно, что они не умрут, что бы мы увидели? «Мы увидим, что члены нашего маленького общества едят, спят, держатся вместе, играют вместе, вырабатывают язык, ссорятся, расходятся», заводят дружбу, забывают ради других о собственной безопасности.6 Таким образом, социальная связь формируется спонтанно. Не существует специфического действия, которое могло бы ее установить или основать. Нельзя учредить или само-учредить общество. Общество есть в любом случае. Социальная связь не имеет предыстории. Сказать, что у нее нет предыстории — значит сказать, что она одновременно постоянна и необходима. Постоянно значит, что, как бы далеко мы ни углубились в историю человечества, мы обнаружим не только общество, но и природу. То есть естественное состояние, то естественное состояние, которое философы искали в первобытной реальности или в мифе, не смещается по отношению к нам [ищущим его], мы можем обнаружить его даже здесь. Во Франции, говорит Фергюсон, естественное состояние обнаруживается так же, как и на мысе Доброй Надежды, поскольку естественное состояние требует, чтобы человек пришел к общественному состоянию.7 Общество, даже изучаемое в своих наиболее сложных, наиболее развитых формах, общественное состояние в своей максимальной плотности всегда скажет нам, что такое естественное состояние, поскольку естественное состояние требует жизни в обществе. Таким образом, постоянство естественного состояния составляет необходимую черту, так же как общественное состояние для природы, то есть естественное состояние никогда не может выступать состоянием нагим и простым. Фергюсон говорит: «И у дикарей, и у цивилизованных граждан найдется множество человеческих изобретений».8 И добавляет фразу, весьма характерную, поскольку она выступает не исходным пунктом, но пунктом, сигнализирующим о теоретической возможности антропологии: «Если

противоестественен дворец, то не менее противоестественна и хижина».9 То есть хижина — это не выражение чего-то естественного и досоциального. Хижина не ближе к природе, чем дворец. Это простое распределение, иная форма необходимого смешения общественного и естественного, поскольку общественное является частью естественного и поскольку естественное всегда переносится общественным. Таким образом, перед нами принцип, согласно которому гражданское общество есть для человечества историко-природная константа.

Во-вторых, гражданское общество укрепляет спонтанное объединение индивидов. Спонтанное объединение возвращает нас к тому, о чем я только что говорил: никакого явного договора, никакого произвольного союза, никакого отказа от прав, никакой передачи естественных прав кому-либо другому; короче, никакого установления суверенитета каким-либо пактом о подчинении. Действительно, если гражданское общество эффективно производит объединение, оно оказывается всего лишь итогом индивидуальных удовлетворений в самой общественной связи. «Как может, — говорит Фергюсон, — благоденствовать общество, если каждый из составляющих его членов является несчастным?»10 Иначе говоря, существует взаимодействие между элементами и целым. В сущности, нельзя сказать, нельзя вообразить, нельзя представить, чтобы индивид был счастлив, если целое, частью которого он является, несчастно. Более того, нельзя даже в точности оценить качество индивида, его достоинство, его добродетель, нельзя оценить его коэффициент добра или зла, если не думать о взаимности или во всяком случае не думать об этом, исходя из того, какое место он занимает в целом, из той роли, какую он играет, и результатов, которые он производит. Каждый элемент гражданского общества оценивается благом, которое он может произвести или обеспечить для целого. О человеке можно сказать, насколько он хорош, насколько он ценен в той и только в той мере, в какой он приносит благо тому месту, которое занимает, и где, говорит Фергюсон, «производит результат, который должен производить».11 Однако достоинство не является абсолютом, достоинство свидетельствует не о целом и только о целом, но о благе каждого из членов целого: «Так же верно, что главной целью гражданского общества является счастье индивидов».12

Как видите, это не механизм и не система обмена правами. Это механизм непосредственного умножения, принимающий ту же форму, что и непосредственное увеличение выгоды в чисто экономической механике интересов. Форма та же, но элементы и содержание другие. А гражданское общество может быть одновременно поддержкой и экономического процесса, и экономических связей, выходя за их пределы и не сводясь к ним. Ведь в гражданском обществе одних людей с другими соединяет механика, аналогичная механике интересов, но не интересы в строгом смысле, не экономические интересы. Гражданское общество — это гораздо больше, чем ассоциация различных экономических субъектов, хотя форма, в которой существует эта связь, такова, что экономические субъекты могут найти в ней свое место, а экономический эгоизм может играть свою роль. На самом деле то, что связывает индивидов в гражданском обществе, — это не максимум выгоды при обмене, а ряд серий, которые можно было бы назвать «бескорыстными интересами». Как это возможно? А вот так, говорит Фергюсон: то, что связывает индивидов в гражданском обществе, — это инстинкт, чувство, симпатия, порывы благожелательности индивидов друг к другу, это сострадание, а также отвращение к

другим индивидам, однако при случае это удовольствие помочь другим индивидам, попавшим в беду.¹³ Таким образом, это первое различие между связью, объединяющей экономических субъектов, и индивидами, являющимися частью гражданского общества: целому присущ не-эгоистичный интерес, игра не-эгоистичных интересов, игра бескорыстных интересов, куда более широкая, чем эгоизм как таковой.

А второе столь же важное отличие, исходящее из того, что приводит в действие элементы, о которых я только что говорил, состоит в том, что связь между экономическими субъектами не локальная. Анализ рынка доказывает, что на всей поверхности земного шара умножение доходов происходит из-за спонтанного объединения эгоизмов. В едином пространстве рынка не существует локализации, не существует территориальности, не существует сингулярной перегруппировки. Зато в гражданском обществе связи симпатии и доброжелательности выступают коррелятами противоположных связей, о которых я говорил, — отвращения, неприятия, недоброжелательства по отношению к другим, то есть гражданское общество всегда представляется как ограниченная, сингулярная совокупность среди других совокупностей. Гражданское общество — это не человечество в целом; это совокупности того или иного уровня, объединяющие индивидов в определенное количество ядер. Гражданское общество, говорит Фергюсон, делает индивида «членом одного какого-то племени или сообщества».¹⁴ Гражданское общество — не гуманитарное, оно коммунитарное. И именно гражданское общество возникает в семье, в деревне, в корпорации, что позволяет подняться на более высокие уровни вплоть до нации в смысле Адама Смита, [в том смысле, который ей придают][125] почти в ту же эпоху во Франции. Нация — это одна из главных, [но] лишь одна из возможных форм гражданского общества.

При таком положении дел в отношении связей бескорыстного интереса, принимающих форму локальных единств и различных уровней[126], связь экономического интереса оказывается в двусмысленном положении. С одной стороны, экономическая связь, экономический процесс, связывающий друг с другом экономических субъектов, принимает форму непосредственного преумножения, а не отказа [от] прав. Таким образом, формально гражданское общество — это то, что становится средой экономической связи. Однако экономическая связь в гражданском обществе может играть весьма любопытную роль, поскольку, с одной стороны, она связывает индивидов между собой посредством спонтанной конвергенции интересов, но в то же время оказывается принципом разделения. Принципом разделения, поскольку по отношению к активным связям, каковые есть связи сострадания, благожелательности, любви к ближнему, чувства общности индивидов друг с другом, экономическая связь (так сказать, маркируя, подчеркивая, делая более резким эгоистический интерес индивидов) тяготеет к тому, чтобы постоянно разделять то, что связывает спонтанная связь гражданского общества. Иначе говоря, экономическая связь, имеющая место в гражданском обществе, есть не что иное, как то, что определенным образом связывает, но другой своей стороной разделяет. На странице 50 первого тома своей «Истории гражданского общества» Фергюсон говорит: никогда связь между индивидами не бывает более крепка, чем когда индивид не обнаруживает непосредственного интереса; никогда связь между индивидами не бывает более крепка, чем когда речь идет о том, чтобы, к примеру, пожертвовать собой, или помочь другу, или о том, чтобы предпочесть остаться в своем племени скорее, чем искать в другом месте изобилие и безопасность.¹⁵ Это чрезвычайно интересно, поскольку полностью отвечает тому, как определяется

экономическая рациональность. Как только экономический субъект увидит, что может извлечь выгоду, к примеру, покупая зерно у Канады и перепродавая его Германии, он делает это. Он делает это потому, что это выгодно, и это приносит пользу всем. Зато связи гражданского общества служат причиной того, что люди предпочитают оставаться в своем обществе, даже если находят изобилие и безопасность в другом. Таким образом, «в коммерческом государстве... можно ожидать от индивидов полной заинтересованности в сохранении своей страны.[127] Но именно здесь, как нигде, можно встретить людей уединенных и обособившихся: людей, нашедших некий объект, составляющий предмет конкуренции со своими же собратьями».16 Следовательно, чем ближе мы к экономическому государству, тем больше, как ни парадоксально, разрушается конститутивная связь и тем больше людей обособляются экономической связью со всеми и каждым. Такова вторая черта гражданского общества: спонтанное объединение, в котором находит себе место экономическая связь, но которому экономическая связь непрестанно угрожает.

Третья черта гражданского общества состоит в том, что оно служит постоянной матрицей для политической власти. В самом деле, как власть может перейти к гражданскому обществу, которое, так сказать, играет спонтанную роль общественного договора, *pactum unionis*, оказывающегося эквивалентом того, что юристы называют *pactum subjectionis*, договором подчинения, обязывающим индивидов подчиняться кому-то другому? И так, для того чтобы в гражданском обществе появилась и действовала политическая власть, не требуется, чтобы *pactum unionis* связывал индивидов в гражданском обществе, не нужно *pactum subjectionis*, не нужно отказа от некоторых прав и утверждения суверенитета кого-то другого. Как происходит спонтанное формирование власти? Просто в силу фактической связи, связующей между собой конкретных и различных индивидов. Действительно, различия между индивидами переводятся в определенное количество различных ролей, которые они будут играть в обществе, различных задач, которые они примут на себя. Эти спонтанные различия непосредственно приводят к разделению труда, и не только в производстве, но и в принятии группой общих решений. Одни дают советы, другие устанавливают порядки. Одни размышляют, другие подчиняются. «Еще до всяких политических институтов, — говорит Фергюсон, — люди различаются сами по себе огромным разнообразием талантов. Стоит свести их вместе — и каждый сам найдет подходящее ему место. Порицания или одобрения они выносят коллективом: для совещаний и раздумий они собираются в более однородные партии; выбирая или отстраняя от должности представителей властей, они действуют в индивидуальном порядке».17 То есть, решение группы выступает в гражданском обществе как решение единства, но, если присмотреться, как это происходит, делается это, говорит он, «более однородными партиями». В качестве индивидов одни получили превосходство, а другие позволили оказывать на них влияние. Следовательно, факт власти предшествует учреждающему, оправдывающему, ограничивающему или усиливающему эту власть праву. Прежде чем власть стала устанавливать свои правила, прежде чем она стала делегироваться, прежде чем она утвердилась юридически, она уже существовала. «Мы идем за лидером еще до того, как под его притязания на власть будут подведены основания; еще до того, как будет подобрана форма его выборов. И только совершив множество ошибок применительно к способностям магистрата [или][128] его подданных, человечество начинает думать о подчинении самого правления определенным правилам».18 Юридическая структура власти появляется всегда потом, задним числом, вслед за фактом самой власти.[129] [Таким

образом,] нельзя сказать: люди были обособлены, они решили создать власть, вот откуда общественное состояние. Именно такой анализ предпринимали в XVII и начале XVIII вв. Нельзя сказать также: люди объединяются в общество и, однажды объединившись в общество, [думают]: было бы хорошо, или удобно, или полезно, установить власть и регулировать ее модальности. На самом деле гражданское общество постоянно и изначально вырабатывает власть, которая не является ни его условием, ни его дополнением. «Система подчинения, — говорит Фергюсон, — столь же необходима людям, сколь и само общество».19 Итак, вспомните, что утверждал Фергюсон: нельзя помыслить человека без общества. Нельзя помыслить человека без языка и общения с другими, как нельзя помыслить человека без ног или рук. Таким образом, человек, его природа, его ноги, его руки, его язык, другие, общение, общество, власть — все это составляет единый ансамбль, который и характеризует гражданское общество.

Четвертая характеристика заключается в том, что гражданское общество составляет то, что можно было бы назвать, используя несколько устаревшее и в определенной степени дискредитированное сегодня слово (но в котором, как мне кажется, можно обрести первую точку приложения), двигателем истории. Это двигатель истории, поскольку, если взять два основания, о которых я только что говорил (с одной стороны, гражданское общество есть спонтанное объединение и подчинение, а [с другой стороны,] в этом спонтанном объединении и подчинении присутствует элемент, совершенно естественно занимающий свое место и при этом выступающий принципом разделения, а именно, эгоизм *homo oeconomicus*, экономических процессов), перед нами [прежде всего] окажется та идея, что гражданское общество есть спонтанное объединение и подчинение, принцип, тема, идея или, если хотите, гипотеза, согласно которой мы имеем дело с устойчивым равновесием. В конце концов, поскольку люди спонтанно устанавливают между собой связи доброжелательства, поскольку они формируют общности, поскольку в этих общностях подчинение устанавливается непосредственным согласием, они должны быть недвижны, а следовательно все должно оставаться на своих местах. Итак, действительно, в этом первом аспекте появляется некоторое количество общностей — я бы сказал: функциональное равновесие целого. Описывая дикарей Северной Америки, или, скорее, обобщая наблюдения над дикарями Северной Америки, Фергюсон на странице 237 того же текста говорит: «Таким образом, не имея какой-либо установившейся формы правления или союзных связей, руководствуясь скорее голосом инстинкта, нежели изобретательностью разума [семьи этих дикарей Северной Америки] вели себя с подобающими народам согласием и силой. Иностранцы, которым не удавалось узнать, кто здесь владыка, [...] всегда находили консультативный совет, с которым они могли вести переговоры [...]. Безо всякой полиции или принудительных законов в их обществе обеспечивался порядок».20 Итак, спонтанная связь и спонтанное равновесие.

Однако, поскольку это связь в такой же мере спонтанная, сколь и разрушительная, самим фактом экономической механики равновесие так же спонтанно разрушается, как спонтанно создается. Вскоре Фергюсон обратится к чистому и простому эгоизму. «Например, — говорит он, — первый, кто последовал за вождем, не знал, что дал пример постоянной субординации, прикрываясь которой наглец будет требовать от него службы, а жадный человек[130] получит повод захватывать его собственность».21 Таким образом, механизм разделения — это просто эгоизм власти. Однако чаще и постояннее Фергюсон задействует

принцип разрушения спонтанного равновесия гражданского общества сугубо экономическим интересом и тот способ, каким формируется экономический эгоизм. И здесь (я отсылаю вас к общеизвестным текстам) Фергюсон объясняет, что гражданское общество с необходимостью проходит через три фазы: фазу дикости, фазу варварства и фазу цивилизации.²² Чем отличается дикость? Прежде всего определенной формой реализации, эффектуации интересов, или экономическим эгоизмом. Что такое дикое общество? Это общество охотников, рыбаков, общество натурального производства, без агрокультуры, без разведения скота как таковых. Таким образом, это общество без собственности, обнаруживающее некоторые элементы, некоторые начатки подчинения и правления.²³ А затем экономический эгоизм, игра экономических интересов, желание иметь свою собственную долю ведут от дикости к варварскому обществу. Тут сразу возникают (я хотел сказать: новые производственные отношения) новые экономико-политические институты: стада, принадлежащие индивидам, пастбища, принадлежащие либо сообществам, либо индивидам. Начинается становление частного общества, но такого частного общества, которое еще не гарантировано законами, и гражданское общество в этот момент принимает форму отношений патрона к клиенту, хозяина к слуге, семьи к рабу и т. п.²⁴ Существует, как видите, сугубо экономическая механика, показывающая, как, исходя из гражданского общества, исходя из экономической игры, которую гражданское общество сделало возможной и, так сказать, пригрело на своей груди, происходит целый ряд исторических трансформаций. Принцип диссоциативной ассоциации, а также принцип исторической трансформации. То, что придает единство социальной сети, есть в то же время то, что задействует принцип исторической трансформации и постоянного разрывания социальной сети.

В теории *homo oeconomicus*, о которой я говорил вам в прошлый раз, коллективный интерес, как вы [помните], рождался из по необходимости слепой игры между различными эгоистическими интересами. Теперь ту же схему тотальности, всеобщности ослепления каждого, мы обнаруживаем в отношении истории. История человечества в своих общих результатах, в своей непрерывности, в своих основных и рекуррентных, диких, варварских, цивилизованных и т. п. формах есть не что иное, как вполне логичная, поддающаяся дешифровке и идентификации форма, серия форм, порождаемых слепыми инициативами, эгоистическими интересами и расчетами, в которых индивиды только и делают, что ссылаются на самих себя. Помножьте эти расчеты на время, заставьте их действовать, говорят экономисты, и вы получите все большую и большую выгоду для общества в целом; Фергюсон, обращаясь к гражданскому обществу, говорит: постоянная трансформация гражданского общества. Я хочу сказать не то, что гражданское общество входит в историю, потому что оно всегда уже там, но что двигатель истории пребывает в гражданском обществе. Эгоистический интерес, а следовательно экономическая игра вводит в гражданское общество то измерение, в котором непрерывно оказывается представлена история, тот процесс, которым гражданское общество фатально и с необходимостью вовлекается в историю. «Люди [говорит он на странице 336 первого тома. — М.Ф.], следуя мгновенному побуждению, пытаются устранить испытываемые ими неудобства и доставить себе преимущества, представляющиеся им достижимыми, приходят к тому, чего они не могли предусмотреть [...]. Как и другие животные, они следуют своей природе, не замечая целей. [...] Подобно ветрам, налетающим неведь откуда и дующим, куда им захочется, общественные формы происходят из некоего туманного далека».²⁵ Короче, механизмы,

непрестанно создающие гражданское общество, и те, что постоянно порождают историю в ее общих формах, одни и те же.

Подобное исследование, представляющее собой лишь один пример среди многочисленных исследований гражданского общества в последние пятьдесят лет XVIII в., или во всяком случае в конце XVIII — начале XIX в., представляется мне ключевым моментом, поскольку, [во-первых,] мы видим, как открывается область социальных отношений, связей между индивидами, составляющими, вслед за сугубо экономическими связями, общественные и политические единства, не будучи тем не менее связями юридическими: ни чисто экономическими, ни чисто юридическими, накладывающимися на структуры договора, игру предоставляемых, делегируемых, отчуждаемых прав, отличных по природе или по форме от экономической игры, — все это характеризует гражданское общество. Во-вторых, гражданское общество — это артикуляция истории в социальной связи. История не выступает чистым и простым логическим развитием, продолжением данной изначально юридической структуры. Она не является также принципом дегенерации, выступающим причиной того, что по отношению к естественному состоянию или к данной в принципе ситуации негативные явления затуманивают изначальную прозрачность. Существует постоянное порождение истории без дегенерации, порождение, являющееся не историко-логическим продолжением, но постоянным формированием новой социальной сети, новых общественных отношений, а значит новых типов правления. Наконец, в-третьих, гражданское общество позволяет обозначить и показать сложные внутренние [отношения][131] между социальной связью и властными отношениями в форме правления. Эти три элемента (открытие области общественных и не-юридических отношений, артикуляция истории в общественной связи в форме, не являющейся формой дегенерации, и органическая принадлежность правления к общественной связи и общественная связь в форме власти) — вот что демаркирует понятие гражданского общества (1) у Гоббса, (2) у Руссо и (3) у Монтескье. Мы оказываемся в совсем иной системе политической мысли, и, мне кажется, эта мысль или во всяком случае политическое мышление проникает в новую технологию управления, или в новую проблему, поставленную техниками и технологиями управления, появлением экономической проблемы.

Теперь я хотел бы двигаться очень быстро — чтобы закончить, а скорее, чтобы поставить ряд проблем. С одной стороны, понятие гражданского общества порождает ряд вопросов, проблем, концептов, возможных исследований, позволяющих устранить теоретическую и юридическую проблему изначальной конституции общества. Это, конечно же, не означает, что юридическая проблема осуществления власти в гражданском обществе не ставится, но ставится она, так сказать, наоборот. В XVII и XVIII вв. речь шла о том, чтобы выяснить, как можно в основании общества обнаружить юридическую форму, которая заранее, в самом зародыше общества, ограничивала бы осуществление власти. Здесь мы, напротив, имеем дело с обществом, в котором существуют феномены подчинения, а значит феномены власти, и проблема теперь состоит лишь в том, чтобы выяснить, как регулировать власть, как ограничить ее в обществе, где уже действует подчинение. Таким образом, задаются вопросом, который будет преследовать практически всю политическую мысль с конца XVIII в. до наших дней: [каковы] отношения гражданского общества с государством. Проблема, которая, очевидно, не могла быть сформулирована таким образом до второй половины XVIII в. и которая теперь представляется следующим образом: возьмем то, что уже дано и что

является обществом. Что может сделать и как может функционировать по отношению к нему государство со своими юридической структурой и институциональным аппаратом?

Отсюда целая серия возможных решений, которые я просто упомяну.²⁶ Итак, государство появляется как одно из измерений и форм гражданского общества. Эту тему в конце XVIII в. развивал Юнг-Штиллинг, который говорил: у общества три оси — семья, дом или поместье, а затем государство.²⁷ Так появляется анализ, который можно назвать генетическим и историческим, какой вы найдете, например, у Бензена, который говорит: гражданское общество следует мыслить как успешно прошедшее через три стадии — стадию семейного общества, стадию гражданского общества в узком смысле и стадию государственного, этатистского общества.²⁸ Есть еще типологический анализ, который вы найдете у Шлоцера, который говорит: можно выделить много типов общества. Не может быть общества без общества семейного; это абсолютно универсальный тип, устойчивый на протяжении долгого времени на всем пространстве и во всем географическом мире. А затем, говорит он, в настоящее время существует тип общества, который есть общество гражданское, присутствующее во всех известных на сегодняшний день формах человеческих общностей. Что до государства, то оно характерно для некоторые известных нам форм гражданского общества.²⁹ Я уж не говорю о Гегеле, для которого государство выступает самосознанием и этическим осуществлением гражданского общества.³⁰

Ладно, у меня нет времени на этом останавливаться. Скажу только, что в Германии в силу целой кучи причин, о которых нетрудно догадаться, анализ гражданского общества будет предпринят именно в терминах оппозиции и отношений [между] гражданским обществом и государством. Гражданское общество всегда изучают в зависимости от его способности поддерживать государство, его изучают постольку, поскольку государство в отношении гражданского общества оказывается либо противоречащим элементом, либо, напротив, показательным элементом и в конце концов осуществленной истиной. В Англии анализ гражданского общества, также по причинам, о которых легко догадаться, будет проводиться не в терминах государства, поскольку государство для Англии никогда не было проблемой, но в терминах правительства. То есть проблема будет состоять в том, чтобы узнать: если верно, что гражданское общество — это всеобщая данность, если верно, что оно обеспечивает свое собственное объединение, если верно, что в гражданском обществе существует что-то вроде внутреннего управления, нужно ли впридачу еще и правительство? Действительно ли гражданскому обществу нужно правительство? Именно этот замечательный вопрос в конце XVIII в. поставит Пейн, и тем не менее он будет преследовать английскую политику по крайней мере до XX в.: в конце концов не может ли общество существовать без правительства или во всяком случае без иного правительства, чем то, что создается спонтанно и не нуждаясь в институциях, которые, так сказать, предпринимают попечение о гражданском обществе и навязывают ему условия, которых оно не приемлет? Вопрос Пейна: «Не надо, — говорит он, — путать общество и правительство. Общество создается нашими потребностями, но правительство создается нашими слабостями. [...] Общество создает связи, правительство порождает разногласия. Общество — это патрон [в английском смысле термина, защитник. — М Ф.], правительство — это каратель. При любых обстоятельствах общество — это благо. Правительство в лучшем случае является неизбежным злом, в худшем оно невыносимо».³¹ Во Франции проблема не ставится ни в английских, ни в немецких терминах.[132]

Здесь ставится вовсе не проблема «отношения правительства к гражданскому обществу» или «отношения государства к гражданскому обществу». В силу хорошо известных вам политических и исторических причин проблема здесь ставится иначе. Здесь до середины XIX в.³² поднимается проблема третьего сословия как проблема политическая, теоретическая, историческая: идея буржуазии как направляющего элемента и носителя истории Франции со Средних веков до XIX в. — это, в сущности, способ поставить проблему гражданского общества и правительства, отношений власти и гражданского общества. Немецкие философы, политические исследователи в Англии, историки во Франции, как мне кажется, всегда раскрывали проблему гражданского общества как главную политическую проблему и политическую теорию.

Другой аспект (и на нем я закончу курс этого года) состоит, конечно же, в том, что в идее гражданского общества перед нами предстает перераспределение или своего рода рецентрация/децентрация тех правительственных интересов, о которых я пытался рассказать вам еще в прошлом году. Если хотите, давайте вернемся к общей проблеме. Мне кажется, что начиная с XVI в., а впрочем, уже в Средние века возникает [следующий] вопрос: как может тот, кто управляет, регулировать и вымерять осуществление власти, ту весьма особенную практику, от которой люди не могут уклониться или уклоняются лишь временами, мгновениями, те сингулярные процессы и индивидуальные или коллективные действия, то осуществление власти, которое ставит перед юристом и историком целый ряд проблем? Итак, давайте скажем самым общим, самым обобщающим образом, что в течение долгого времени идея регулирования, измерения, а следовательно ограничения бесконечного осуществления власти требовала от того, кто управляет, мудрости. Мудрость — таков был старый ответ. Мудрость — значит управление в соответствии с порядком вещей. Это значит управлять согласно знанию о человеческих и божественных законах. Это значит управлять согласно предписанному Богом. Это значит управлять согласно тому, что может нам предписывать общий порядок божественных и человеческих сущностей. Иначе говоря, когда пытались определить то, в чем должен быть мудрым правитель, когда пытались выяснить, в чем должна состоять мудрость правителя, по сути, пытались регулировать правление истиной. Истина религиозного текста, истина откровения, истина мирового порядка — именно это должно было быть принципом регламентации, скорее даже, регулирования осуществления власти.

Начиная с XVI–XVII вв. (что я пытался показать вам в прошлом году) регулирование осуществления власти, как мне представляется, производится согласно не мудрости, но расчету — расчету сил, отношений, богатств, факторов власти. То есть больше не пытаются регламентировать правление мудростью, его пытаются регламентировать рациональностью. Регламентировать правление рациональностью — это, как мне кажется, то, что можно было бы назвать современными формами правительственной технологии. Итак, регулирование посредством рациональности принимает (здесь я значительно схематизирую) две последовательные формы. В этой рациональности, согласно которой регламентируется власть, речь может идти о рациональности государства, понимаемого как суверенная индивидуальность. Правительственная рациональность в это время — в эпоху правительственных интересов — есть рациональность самого суверена, рациональность того, кто может сказать «государство — это я». Что, очевидно, ставит ряд проблем. Прежде всего, что такое это «я», или кто этот «я», который сводит рациональность правления к

своей собственной рациональности суверена, максимизирующего свою собственную власть? К тому же, перед нами юридический вопрос о договоре. И еще фактический вопрос: как можно осуществлять эту рациональность суверена, претендующего говорить «я», когда речь идет о таких проблемах, как проблемы рынка, или, более общо, экономических процессов, где рациональность не только совершенно ускользает от общей формы, но абсолютно исключает и общую форму, и взгляд сверху? Откуда новая проблема перехода к новой форме рациональности как индекса регламентации правления. Теперь речь идет не о том, чтобы регулировать правление рациональностью суверенного индивида, который может сказать «государство — это я», [но] о рациональности тех, кем управляют в качестве экономических субъектов и, более общо, в качестве субъектов интереса в самом общем смысле этого термина, [о] рациональности тех индивидов, которые для удовлетворения своих интересов в общем смысле термина используют определенные средства, и используют их так, как хотят: именно рациональность управляемых должна служить принципом регламентации для рациональности правления. Вот что, как мне кажется, характеризует либеральную рациональность: как регулировать правление, искусство управлять, как [обосновать][133] принцип рационализации искусства управлять рациональным поведением тех, кем правят.

Такова, как мне кажется, точка расхождения, такова важная трансформация, которую я попытался локализовать, что вовсе не означает того, что рациональность государства-индивида или суверенного индивида, который может сказать «государство — это я» была отброшена. Можно сказать в глобальном, общем смысле, что все националистические, этатистские и т. п. политики становятся политиками, чей принцип рациональности оказывается основан на рациональности, или, если хотите, на интересе и стратегии интересов суверенного индивида или государства как того, что конституирует суверенную индивидуальность. Точно так же можно сказать, что регулируемое истиной правление тоже не исчезло. В конце концов, что такое марксизм, как не поиск такого типа руководства, которое, конечно же, будет основано на рациональности, но на рациональности, которая представляется не столько рациональностью индивидуальных интересов, сколько рациональностью истории, мало-помалу манифестирующей себя как истина? Именно поэтому в современном мире вы видите то, что нам известно начиная с XIX в.: целую серию правительственных рациональностей, громоздящихся, опирающихся, спорящих и борющихся одна с другой. Искусство управлять соответственно истине, искусство управлять соответственно рациональности суверенного государства, искусство управлять соответственно рациональности экономических агентов, в общем, искусство управлять соответственно рациональности самих управляемых. И все эти различные искусства управлять, эти различные способы рассчитывать, рационализировать, регулировать искусство управлять, громоздясь друг на друга, начиная с XIX в. составляют объект политических споров. В конце концов, что такое политика, как не одновременная игра различных искусств управлять с их различными референциями и спорами, порождаемыми различными искусствами управлять? Мне кажется, здесь и рождается политика. Ладно, на этом все. Спасибо.[134]